



*Моим детям: Эмме, Анне и Лукасу
Ане Марии (Карман) Гордон, Джудит (Киппель) Стил
и Герберту Карлинеру, которые были ровесниками
моих детей, когда поднялись на борт «Сент-Луис»
в порту Гамбурга в 1939 году*

Вы мои свидетели.

ИСАИЯ 43:10



Воспоминания — это то, что я предпочла бы забыть.

ДЖОАН ДИДИОН



Ханна и Анна

Берлин — Нью-Йорк

Ханна

Берлин, 1939

*М*не почти исполнилось двенадцать, когда я решила убить родителей. Решила со всей серьезностью. Я лягу в постель и дождусь, когда они уснут. Это всегда было легко определить: папа, как обычно, закроет большие, тяжелые окна с двойными рамами и задернет плотные зеленые, с бронзовым отливом, шторы. В очередной раз он повторит то, что говорил каждый вечер после ужина, уже более разнообразного, а не просто дымящейся миски безвкусного супа.

— Ничего не поделаешь, все кончено. Нам нужно ехать.

Потом мама начнет кричать и попрекать его срывающимся голосом. Она снова будет мерить шагами квар-

тиру — свою крепость посреди погибающего города, пристанище последних четырех с небольшим месяцев, — пока окончательно не выбьется из сил. Потом она обнимет отца, и ее слабые всхлипы вскоре затихнут.

Я выжду пару часов. Они не окажут никакого сопротивления. Я знала, что отец уже сдался и хотел уйти. С мамой все было сложнее, впрочем, она приняла такую большую дозу снотворного, что быстро уснет, убаюканная ароматами жасмина и герани. Несмотря на то, что мама постепенно повышала дозу, она все равно просыпалась по ночам в слезах. Я бегала посмотреть, что случилось, но мне удавалось разглядеть сквозь приоткрытую дверь только то, как папа обнимал безутешную маму, похожую на маленькую девочку, которой приснился ужасный кошмар. Вот только для нее кошмаром было бодрствование.

Никто больше не слышал, как я плакала; никому не было до этого дела. Папа сказал, что я сильная и вынесу все что угодно. Но не мама. Боль захватила ее целиком. В доме, куда больше не пускали солнечный свет, ребенком была она. На протяжении всех четырех месяцев мама плакала по ночам. С тех самых пор, как улицы города покрылись битым стеклом и наполнились смрадным запахом пороха, металла и дыма. Именно тогда они и начали планировать наш отъезд. Родители решили покинуть дом, где я родилась, и запретили мне ходить в школу, в которой меня больше никто не любил. Потом папа подарил мне второй фотоаппарат.

— Чтобы ты оставила след для выхода из лабиринта, как Ариадна, — шепнул он мне.

В голову мне пришла шальная мысль, что было бы замечательно от них избавиться. Я подумывала о том, чтобы

подсыпать аспирин отцу в еду или стащить мамино снотворное — она бы не выдержала без него и недели. Единственным препятствием стали охватившие меня сомнения. Сколько нужно аспирина, чтобы у отца открылась смертельная язва или внутреннее кровотечение? Сколько мама сможет продержаться без сна? О кровавом деле даже речи не могло быть, потому что я не выносила вида крови. Так что лучше всего им было бы умереть от удушья. Так вот взять и задушить их огромной перьевой подушкой. Мама прямо говорила, что ей всегда хотелось умереть во сне.

— Я не выношу прощаний, — говорила она, глядя на меня в упор, или, если я не слушала ее, обхватывала меня рукой и слегка прижимала к себе — сил у нее оставалось немного.

Однажды ночью, очередной ночью слез, я проснулась с мыслью, что уже совершила преступление. Мне казалось, я видела безжизненные тела родителей, но не могла выдавить из себя ни слезинки. Я чувствовала себя свободной. Теперь никто не заставит меня переехать в дрянной район, бросить книги, фотографии, фотоаппараты, жить в страхе, что тебя отравят собственные отец и мать.

Я задрожала. И позвала:

— Папа! — Но на мой зов никто не пришел.

— Мама! — Это была точка невозврата. В кого я превратилась? Как я могла до такого опуститься? Что бы я стала делать с их телами? За сколько они бы разложились?

Все бы подумали, что это самоубийство. Никто бы не стал дознаваться. Страдания родителей длились уже четыре месяца. Все воспринимали бы меня как сироту, а я себя — как убийцу. В словаре было название моего преступления. Я нашла его. Какое отвратительное слово.

Я содрогаюсь от одного его звука. *Отцеубийца*. Я попыталась произнести его еще раз и не смогла. Я была убийцей.

Было совсем просто найти название своему преступлению, признать вину и понять характер своих душевных терзаний. А как же мои родители, которые планировали избавиться от меня? Как называют тех, кто убил своих детей? Не такое ли это ужасное преступление, что ему не нашлось даже определения в словаре? Это означало, что им оно могло вполне сойти с рук. В то время как мне приходилось нести бремя смерти и этого отвратительного слова. Человек может убить родителей, братьев или сестер. Но не своих детей.

Я бродила по комнатам, которые казались мне невероятно тесными и темными, в доме, который вскоре не будет нам принадлежать. Осмотрев высокие потолки, я прошла в холл, увешанный портретами теперь уже многочисленных членов семьи. Свет от лампы с кипенно-белым абажуром в папиной библиотеке проникал в коридор, где я стояла безо всякого движения и наблюдала, как мои бледные руки окрашивались золотом.

Открыв глаза, я обнаружила, что по-прежнему нахожусь в спальне, в окружении изрядно потрепанных книг и кукол, с которыми я никогда не играла и, очевидно, так и не поиграю. Я прикрыла глаза и ясно почувствовала, что уже совсем скоро мы уплывем на огромном океанском лайнере куда глаза глядят, оставив позади порт и страну, которая никогда не была нам родной.

В итоге я не убила родителей. Мне просто было незачем. А вина лежала на отце с матерью. Ведь именно из-за них я бросилась в эту пропасть.



Запах в квартире стал невыносимым. Я не понимала, как мама может жить в этих стенах, обтянутых темно-зеленым шелком, поглощавшим весь дневной свет, которого и без того было мало в это время года. Здесь пахло заточением.

Нам оставалось здесь жить мало времени. Я это знала, чувствовала. Мы не станем проводить лето здесь, в Берлине. Маме приходилось раскладывать по шкафам нафталиновые шарики, чтобы сохранить свой мирок, и квартиру наполнил надоедливый запах. Мне было совершенно непонятно, что она старается сберечь, ведь мы в любом случае должны были лишиться всего.

— От тебя пахнет, как от старух с Гроссе Гамбургштрассе, — поддразнивал меня Лео. Лео был моим единственным другом, человеком, который мог смотреть мне в лицо, не испытывая желания в меня плюнуть.

Весна в Берлине выдалась холодной и дождливой, но папа часто выходил из дома без пальто. Всякий раз, когда ему нужно было отлучиться, он не ждал лифта, а шел вниз по скрипучим ступенькам. Впрочем, мне и не разрешали спускаться по лестнице. А отец спускался пешком не потому, что торопился, а чтобы не встретить никого из соседей. Пять семей, живущих на нижних этажах, дожидаться не могли, пока мы съедем. Те, кто раньше с нами дружил, теперь общались отчужденно. Те, кто в незапамятные времена благодарил отца или заискивал перед мамой и ее друзьями, а еще восхвалял ее прекрасный вкус и спрашивал ее, как составить комплект